

Дмитрий Гуренич

Es schwindelt

«ЛитРес: Самиздат»

2017

Гуренич Д.

Es schwindelt / Д. Гуренич — «ЛитРес: Самиздат», 2017

Современная историография описывает так называемый «конспиративный» период жизни В.И. Ленина (июль-октябрь 1917) весьма скудно. Среди историков нет единого мнения даже относительно даты возвращения В.И. Ленина в Петроград осенью 1917. Достоверно можно лишь утверждать, что это произошло не ранее 20 сентября и не позже 7 октября по старому стилю. Известно, что до 8 (21) августа В.И. Ленин скрывался вместе в Г.Е. Зиновьевым в шалаше за озером Разлив близ Петрограда, а затем на территории Финляндии. При этом, конкретные адреса и даты известны далеко не полностью. Повесть «Es schwindelt» ("Голова идёт кругом", нем.) предлагает свою версию реконструкции этих событий.

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

24

Дизайн обложки Ю. Меклера

На обложке и в тексте в качестве иллюстраций использованы находящиеся в открытом доступе фотографии из ленинского архива, факсимиле первой страницы рукописи работы «Государство и революция», а также репродукции картины В.А. Серова «Ленин провозглашает Советскую власть на 2-м съезде Советов (варианты 1947 и 1962 гг.).

В тексте, в некоторых местах, без кавычек и атрибуций встречаются незначительные по объёму непрямые отсылки к произведениям русских и советских писателей. Информированный читатель их легко обнаружит.

Телега, запряжённая неказистой крестьянской лошастью, стояла у дальнего края железнодорожной платформы, оставленная там с таким расчётом, чтобы укрыться от фонаря в тени станционной постройки. Лошадка, хоть и не была привязана, не имела охоты отойти куда-то от того места, где её оставили стоять. Опустив голову, она, похоже, спала или, если только лошади могут дремать, подрёмывала. Место возницы пустовало, передние две трети телеги, прикрытые невысокими бортами, занимали молочные бидоны и ещё какая-то поклажа, а позади сидели двое.

Один из седоков, тот что покрупнее и помоложе, сидел спустив обутые в сапоги ноги с края телеги. В темноте, по силуэту, его можно было бы принять за деревенского батюшку, но вблизи разгляделось, что на голове у него был не клобук, а высокая, не то крестьянская, не то казачья шапка, а курчавая чёрная борода, окаймлявшая пухлое, белое, казавшееся ещё более бледным при свете луны лицо, была пожалуй что коротковата для священника, да и вообще вид имела совсем не православный. Он был одет в длинное черное пальто, на коленях держал чёрный же саквояж, и похоже, что изрядно озяб под утро. Он сидел съёжившись, обхватив себя руками за плечи и нахмурился. Лет ему на вид было под сорок.

Второй, тот что помельче и постарше, лет пятидесяти с лишком, сидел, поджав под себя короткие ноги. Хотя одет он был полегче, чем тот, другой, но от холода, видно, не страдал, а что было ему невмочь, так это вынужденное безделье. По всему видать было, что маялся он сиденьем на месте и рвался всё куда-то.

Он то слезал с телеги и, выбрасывая коленца, приседал возле неё, держась за борт, то легко, одним тренированным движением вспрыгивал наверх на телегу, усаживаясь то по-турецки, то свернув ноги впереди себя кренделем. По одежде его можно было бы принять за флотского, так широки были его брюки, приспущенные на сапоги. Да и короткую куртку с широкими лацканами в темноте можно было принять за боцманскую. На голове у него была однако ж не флотская шапка, а обычный рабочий картуз, из под которого выбивались немые патлы. Лицо его было брито, если не считать отросшей за ночь щетины.

– Ну где он, ваш Магнум? – спросил он нетерпеливо.

– Не Магнум, а Магнус. Он такой же мой, как и ваш, – отозвался молодой. – За него поручился Рахья. Да и рано ещё ему.

– А час который на ваших серебряных, Григорий Евсеич? – спросил лохматый уже примирительно.

Зиновьев, с видимой неохотой – не хотелось выпускать западное тепло – покопался где-то в чёрных недрах своего пальто, достал часы на цепочке, щелкнул крышкой, покрутил циферблат и так и эдак, пытаясь поймать в него блик луны, потом отстегнул и поднёс к уху.

– Стоят благополучно.

– А я свои заложил в ломбард. Понадобились тогда деньги залог вносить за право жительства в кантоне. Да так и не выкупил, забыл. Вот ей-ей запомнил, хоть и было после на что выкупить, но завертелось всё, не успел. И шут с ними, часы швейцарские, так пусть в Швейцарии и остаются. Да и зачем они – баловство одно. Одолжите-ка мне ваши на минутку.

Лохматый лёг на дно телеги, положив картуз под голову, поднял вверх перед собой часы, держа их за свободный конец цепочки, так что получилось что-то вроде маятника. Теперь он ждал, чтобы этот маятник успокоился, а сам спросил:

– Ну давайте хоть календари сверим. Число у нас нынче какое? Восьмое?

– Да девятое уже, Владимир Ильич.

– Девятое, так. Девятое – это у нас. В Европах стало быть уже двадцать второе, день осеннего равноденствия. Это хорошо.

Зиновьев явно не находил ничего особенно хорошего в том, что нынче было равноденствие. Он озадаченно смотрел на то, как Ленин строил в небе какие-то углы пальцами свободной, не занятой часами, руки. Через несколько секунд, вернув часы владельцу, Ленин уверенно произнёс:

– Пяти точно никак нет ещё. Полчаса пятого – самое большое.

– Это вы как узнали? Думаете светало бы уже?

– Светать – так и так рано. Я – по звёздам. Хотите и вас научу? – и, не дожидаясь ответа. – Большую Медведицу видите? Вон ковш висит над вон той сосной, видите где мой палец? Крайние две звёздочки у ковша видите? Вот, продолжайте воображаемую линию, что их соединяет, наискосок налево и чуть вверх примерно на пять длин того, что между звездами. Упрётесь в Полярную звезду, там других ярких звезд нет. Нашли Полярную?

– Да, вроде бы.

– Теперь смотрите, представьте, что эта линия, та что ведёт от Полярной звезды к этим двум звёздам Большой Медведицы, – это стрелка на часах. Если принять Полярную звезду за середину циферблата, то на какую цифру на часах наша стрелка указывала бы?

– На четыре, я думаю, может чуть выше. Ну как если бы четыре без четверти.

– Верно. А теперь нам надо понять, где на наших часах полночь. Это сложнее немного, но тут нам повезло, считайте. В день весеннего равноденствия, полночь – строго вверх от Полярной, там где на часах двенадцать, а сегодня, в день осеннего, – строго вниз, там где на часах шесть. А теперь сосчитаем-ка разницу между шестеркой и тем, где у нас стрелка. Как если бы мы по циферблату считали. Ну-ка?

– У меня выходит два с четвертью часа до полуночи. Что-то у вас не так, Ильич.

– Всё так. Забыл сказать, что считать надо против часовой стрелки, и разницу умножить на два. Так что получается, что у нас сейчас четыре с половиной часа после полуночи. Но это астрономическое время, от местного может отличаться на плюс-минус полчаса, но нам и здесь повезло: мы с вами на тридцатом меридиане, ну может на пару лаптей западнее. Считайте, что от Гринвича впереди ровно на два часа. Так что царскосельского времени сейчас половина пятого. Ну хотите добавьте одну минуту девятнадцать секунд, если вы такой педант.

– Ух ты! – вырвалось у Зиновьева. – Здорово. Вас этому в гимназии, поди, научили?

– Да нет, батенька, в гимназиях этому не учат. Это мне сначала брат показал. Знаете, какие у нас на Волге ночи звёздные? Весь Фламарион как на ладони. А потом ссыльный один разъяснил уже подробно. Артиллерийский капитан был. Бывший, понятно, разжалованный.

– Как вы сказали, Фламарион? Это капитан тот самый разжалованный?

– Да нет. Астроном французский.

Эту беседу прервал появившийся из темноты Магнус. Это был крепкий финский парень, лет двадцати, одетый как хуторянин. Он виновато улыбнулся, извинился, что вышло долго, и протянул господам два железнодорожных билета:

– Как просили: в разные вагоны, один второго класса, один третьего. Поезд должен подойти через девять минут, но война, сами понимаете, не всегда получается по расписанию... – говорил он по-русски хорошо, чисто, но с заметным финским акцентом.

Ленин – ему финн, как старшему, вручил билет второго класса – бодро спрыгнул с телеги, прихватив с собою тощий заплечный мешок наподобие солдатского «сидора». Зиновьев, придерживая саквояж, соскользнул на землю; скорее сполз, ногами вперёд. Ленин наскоро поблагодарил финна и потряс ему руку. Зиновьев тоже поблагодарил, но на прощание ещё и сунул ему ассигнацию. Финн взялся за вожжи. Лошадка пошла шагом. Позвякивая бидонами, телега скрылась. Ленин и Зиновьев пошли взбираться на платформу.

На ночном перроне кроме них двоих никого не было. Прищурившись и оглядев Зиновьева с головы до ног критически, Ленин как отрезал:

– Вот что, Григорий. Вам с вашей бородой в третий класс лучше не соваться. Если не заметут филёры, так свои же мужички захотят баул проверить, да ещё и рожу начистят. Не спорьте, батенька, не спорьте. Давайте-ка мне ваш билет, держите вот мой, и дуйте с богом.

И потом уже совсем скороговоркой – надо ж успеть до поезда:

– В Питере меня не ищите. И мой вам совет, нет, не совет – наказ: с Финляндского – покружите, покружите и на конспиративную. Неделю, лучше дней десять, – никуда и ни с кем. Потом сами поймёте по обстановке. Отлежитесь, отдышитесь, осмотритесь, загляните к моим, передайте письма, – Ленин вынул конверт из-за пазухи. – Чисел я не ставил. Будет случай – вместе потом поставим. Скажете, что я в безопасности, у товарищей, за Выборгом. Лишние волнения ни к чему. Ну, не мне вас учить. Связь будем держать через Вейолу, ну и через Рахью. Это понятно. И ещё, Григорий, поймите сами и разъясните товарищам. Мы уже всё равно, что победили. Нам сейчас главное – выждать. Нам сейчас – всё равно. Керенский ли Корнилова, Корнилов ли Керенского. Через «всю власть Советам» ли, через Учредительное ли это, пусть в упряжке с эсерами, чёрт бы с ними, а только по-всякому-якову власть сама к нам в руки и свалится. Надо будет – подтолкнём, но, думаю, не придётся. На либеральную сволочь в одном можно всегда рассчитывать – никогда не упустят шанс сделать глупость. Где интеллигенция, там что? Слюнявая маниловщина, чванство, это заметьте при всей её «любви к народу», а самое главное – глупость, глупость, глупость! На то ж, как говорится, и интеллигенция, – и, помолчав. – Даже среди инженеров. А наше дело сейчас – ждать. Сколько – не знаю. Может быть неделю, может быть – месяц. Я понимаю, Григорий, для революционера сидеть на печи и томиться – хуже нет. Поверьте мне, сиживал, подольше вашего. Но задача момента, именно вот этого вот момента – не делать ничего. Ждать, беречь силы. Да, и вот это уже не наказ, а просто совет по-дружески: бороду эту сбейте.

Гудок паровоза скрыл последние слова Ленина и то, что отвечал ему Зиновьев.

– Ну, я побежал, третий класс – он ведь где? В хвосте должен быть? – и Ленин прытко побежал вдоль перрона навстречу подходящему составу.

Несмотря на предрассветный час, вагон третьего класса был только что не битком. Места были бесплацкартные, и по общей революционной расхристанности каждый занимал места сколько мог. Поклажи было как бы не больше чем людей. На лавках и между ними громоздились ведра, бидоны, крынки, бочонки и разнокалиберные корзины со всякой снедью. Крестьяне везли свой товар на рынки, выехав в ночь, чтобы успеть к открытию. Заспанные лица были в основном чухонские, но попадались и свои, русские. Ближний к площадке конец вагона был весь целиком занят солдатской командой запасных, человек тридцать, под началом вовсе невоенного вида прапорщика с нашивками вольноопределяющегося и приколотым на груди смятым красным бантом. Все клевали носом.

Ленин двинулся вперёд по проходу, тщетно оглядываясь в поисках свободного места, но тут поезд тронулся, тряхнуло, и Ильич еле устоял на ногах, удержанный вовремя за рукав мужиком, сидящим с краю лавки.

– Садись, мил человек, а то ты мне так все яйца перебьёшь.

Мужик потеснился с поклажей. Небольшое лукошко с грибами он поставил поверх большой, с грибами же, корзины, а такую же большую корзину с яйцами снял с противоположной скамьи и поставил между собой и грибами, прижав поплотнее.

– Садись, – указал он на освободившееся напротив место. – А то ты, я вижу, на ногах нетвёрд. Приболел никак?

– Вот спасибо, вот хорошо... – пристроился на лавке Ленин. Свой «сидор» ему уже некуда было положить, держал на коленях. – Да нет, не приболел, слегка того,.. мутит с похмелья.

Да разве ж русскому человеку надобно объяснять, что бывает с похмелья? Мужик подмигнул и достал из сапога бутылку самогона с замотанным тряпицей горлом:

– На вот, поправься.

Ленин сделал два больших глотка. Хоть и не мучало его никакое похмелье, а всё ж веселее, да и согрелся. Хорошо, чёрт возьми! Мужик тоже отхлебнул. Ленин достал из мешка начатую краюху ржаного хлеба, начатый же круг колбасы и ядрёную луковицу. Из кармана достал складной нож. У мужика нашелся шмат сала в тряпице. Сдвинули колени – вот и стол. В тесноте, да не в обиде.

Мужика звали Власом Терентьевичем, был он вдов. Старший сын, Лексей, воевал на румынском фронте. Фейерверкер, Георгиевский кавалер. Гордился отец сыном. Младшие – по лавкам. Всё хозяйство на нём, помощи – неоткуда. Сам он с Луги, печник, и отец был печником. Молодым ходил по деревням, клал печи, а дачникам под Питером и камин клал, хотя в каминях какой толк? Так и дошёл он, кладя печи, аж за Выборг. Женился на чухонке. Ничего не может сказать, хорошая была женщина, справная. Пока жива была – хозяйство на ней, а он по округе – по печному делу. В достатке жили, мясо – каждое воскресенье, а молоко, яйца, творог – всё своё.

Но вот жену год как схоронил, и на печной промысел теперь не отойдёшь: детишек не с кем оставить, малы ещё, так что даже в Питер на базар он за один день туда-сюда не обернётся. Ездит торговать в Выборг поблизости, а там разве ж цену дадут? Крутится-вертится Терентьич как может, помощи ему ждать неоткуда. Ждёт, что мальцы подрастут, и верит, что старший с войны вернётся цел-невредим. Молится за него каждое воскресенье, свечку ставит. Две свечки каждое воскресенье: одну за упокой по жене, другую во здравие – за сына. А печь он любую хоть сейчас сложит. Хочешь финскую, хочешь русскую, да и камин легко. Всего и делов-то.

Отхлебнули ещё. За покойницу, светлая память. Понимал Ленин, поддакивал, кивал сочувственно, кричал. Да ведь и самому есть, что сказать, есть какой заботой поделиться. Ленину ли мужика не понять? Ленину эти печали – всё равно, что его, ленинские. И возишься тут с товарищами как с малыми детьми. И помощи взять неоткуда.

– И каково ему всю жизнь? – хрустнул Ильич луковицей, – С большинством из тридцати одного против меньшинства из тридцати двух?

Здесь не очень понял Влас Терентьевич. Ну, это ничего, ещё отхлебнём. Вроде и полегчало обоим.

Да что ж за непорядок. Забыл Ленин представиться. Извольте: Емельянов, Алексей Лукич, типографский рабочий. Двадцать лет проработал наборщиком, а теперь вот – сменным мастером (это если попутчик удивится, почему руки такие белые у типографского). Гостил у сестры, а вечером в Питере заступать ему уже на смену. Отоспаться успеет.

Имя Ленин выбрал нарочно такое же как у Влас-Терентьича сына, а отчество – уж какое придётся.

– Типографский, это как? В газете что ли?

– В типографии. Печатаем газеты, книжки, журналы, брошюры, афиши. Работы много нынче: что ни день, то новую газету открывают.

– А, ну значит грамотный. Да по тебе и видно, – зауважал Терентьич Ленина. – А вот скажи мне тогда, чего теперь будет-то?

Интересовался попутчик, как теперь оно будет без царя. Что это ещё за «Учредительное»? Что, сами выбирать будем? Зачем это? Какие-то списки, партии, названия мудрёные: «каституционно-демократическая» – это ж поди выговори. Но хорошо теперь партийным спискам номера выдали. По номеру легче. А что, не слышно, чтобы нижним чинам отпуска разрешили? Сына три года не видел, а господа офицеры вон катаются. Да и вообще, сколько можно воевать? Насчёт войны разбирался Терентьич не хуже, чем любой мужик. Показывал руками: вот так мы, так немец. Нет, самому не пришлось, хранил Господь: в японскую был он в семье единственный кормилец, таких не брали. Одного не мог понять он: зачем нам ещё и Румыния, если немец уже в Риге?

– А Турция – не-е-ет, с Турцией другое дело, а Польша – да и пропади она пропадом. Да война – бог с ней с войной, ты скажи, что с землёй-то будет? Неуж дадут?

И терепеливо разъяснял Ленин ему, как маленькому. Объяснял, что война не кончится, пока мы сами её не кончим.

– А как кончить?

– Да очень просто: штык в землю, и по домам.

– А немец?

– Так и немец – штык в землю, куда ему, немцу, деваться.

И с землёй – то же самое:

– Никто крестьянину земли не даст, если он сам её не возьмёт.

– А где ж взять?

– Да отобрать у помещиков.

– А не захотят отдать?

– Так выгнать их взашей, а какие не сбегут – перебить.

Перебить – это нам понятно.

А с партиями и списками – это совсем просто:

– Голосовать надо за четвёртый¹ список. Четвёртый – он и есть четвёртый. У лошади сколько ног? Четыре! То ж и у коровы, и у свиньи, и у собаки. На четырёх ногах не упадёшь. Вот и голосовать надо за четвёртый.

За четвёртый – это Влас-Терентьичу понятно, это не «архарово-сидикалисты» какие. И не выговоришь, тьфу. Ленин тоже посмеялся над «архаровцами».

За окном вагона уже светало. Влас Терентьевич заволновался. Скоро Выборг. Как ему со своей поклажей управиться? Рук две, а корзин три, да мешок ещё за спиной. На станции-то он подмогу найдёт, а вот из вагона как выбраться, да тут ещё яйца. Ленин хорошему человеку помочь всегда готов. В четыре руки управимся, в Выборге же поезд хоть пять минут, а простоит.

– Ну, спасибо, спасибо.

– Да вот ещё, – сообразил Ленин, – Давайте-ка мы с вами, Влас Терентьевич, переложим грибы и яйца так, чтобы в обеих больших корзинах яйца лежали вперемешку, пополам с грибами. Грибы – мягкие, вот яйца и не побьются, а побьются – так хоть не все. Все яйца в одной корзине – это, знаете ли, недалековидно. Да и корзины выйдут одного весу, всё нести легче.

– Ох, ну ты ж и голова, Лексей Лукич.

Поставили обе корзины между ног и принялись аккуратно перекладывать грибы к яйцам, яйца – к грибам. За этим занятием и застал их кондуктор. У Ленина билет за околышем кар-

¹ Под четвёртым номером на выборах в Учредительное собрание в 1917 году был зарегистрирован избирательный список партии большевиков.

туза. Протянул кондуктору, не подымая головы. Тот пробил билет компостером, похвалил мужиков за смекалку.

На Выборгский перрон выбрались вдвоём. Сначала Влас Терентьевич слез с малым грибным лукошком, Ленин ему с площадки передал осторожно две других корзины, а следом прыгнул и сам, прихватив от греха свой «сидор».

– А что, Влас Терентьевич, если я вам чуток руки освобожу? – прищурился Ленин. – Не уступите мне лукошко, уж больно хорошо пахнет? Так и хочется зажарить с луком.

– Да бери вместе с лукошком за рупь, – обрадовался тот. – Для хорошего человека не жалко. Ты таких в Питере и за рупь с полтиной не купишь.

Ленин отсчитал рубль серебром, и заторопился назад в вагон.

Влас Терентьевич ещё бы долго благодарил и прощался, но поезд ждать не станет. Ленин с грибным лукошком поднялся на площадку, а Влас Терентьевич, прикинув, что с двумя корзинами он обойдется без носильщика, пошёл по перрону враскорячку в сторону вокзала.

Оказавшись на площадке, Ленин не торопился пройти внутрь вагона. Он то ли хотел подышать свежим, утренним воздухом, то ли чего-то ждал. Когда раздался гудок, и поезд готов был вот-вот тронуться, он невозмутимо соскочил на перрон, немного помешкал, сделав вид, что укладывает поплотнее грибы, и убедившись, что давешнего его знакомого на перроне нет, двинулся в сторону вокзального здания, но остановился вскоре возле расписания, висевшего на большом щите в середине платформы.

Расписание выглядело искорёженно. Частью оно было заклеено длинными бумажными полосами с надписями «отменён» или «без остановок», частью было переправлено от руки. Типографское «Империи» было зачеркнуто, и сверху написано чернильным карандашом – «Республики».

Ленин внимательно изучил расписание, зайдя ещё и с другой стороны, и зашагал дальше, вперёд, торопясь в здание вокзала. Он обгонял носильщиков, солдат-инвалидов на костылях, сестёр милосердия, ремесленников. Ему навстречу попадались матросы, угрюмые, небритые офицеры, всё больше прапорщики, все как один с красными бантами; земгусары, мальчишки-газетчики, девицы с папиросами. Он зашел в помещение вокзала, потолкался, не сразу нашел кассовый зал: таблички – где разбиты, где замазаны грязью до неузнаваемости. И, вот ещё новая мода, на месте разбитых русских табличек кое-где новенькие, но по-фински. У кассы небольшая очередь, дождался, подошёл, купил один билет второго класса. До Гельсингфорса.

Зашёл в туалет. В зеркало взглянул, провёл рукой по подбородку. Отросло. Лицо старое, на вид можно дать все шестьдесят. Кожа на висках как у старой черепахи, глаза – щёлочки, как у японца. Зашёл в кабину, тесно, не повернуться. Снял куртку. Под курткой – свитер, вроде тех, что носят финские крестьяне. Куртку – наизнанку. Изнанка из яркого пледа вроде шотландки. С изнанки – застёжка, карманы, всё как снаружи. Из кармана в карман, быстрым движением, – браунинг, проверив предохранитель. Сложенную пополам вдоль синюю ученическую тетрадку – в другой карман. Картуз с головы – в мешок, из мешка на голову – щегольское английское кепи с наушниками. Грибов из корзинки одну горсть, другую, всё – в очко. На дно корзины – мешок со всем содержимым. Прикрыть грибами, и сверху – складной швейцарский нож. Возле очка – не пристроиться. Тесно, грязно. Стоя, задрал брюки. Под брюками – высокие, вишнёвые английские башмаки на шнуровке. Расшнуровал, заправил брюки, зашнуровал. Всё, теперь он дачник-грибник, тотчас мыть руки, и он ещё успеет в буфет.

Никакое время дня так не любил Ильич, как раннее утро. Тот час, когда господа ещё видят сны, а наш брат рабочий уже входит в заводские ворота, когда раскладывают свой товар на лотках уличные торговцы, когда втягивают в город свои повозки крестьяне и придавливают булыжником на углу газеты мальчишки-газетчики. Никакой другой час не был так мил потомственному дворянину Ульянову, как этот ранний, трудовой час, когда весь день впереди, и столько ещё можно успеть. И ещё за то любил Ильич раннее утро, что всем своим естеством

чувял он, что враги его ещё спят, и он может напасть на них, беспомощных, и делать с ними что хочет.

Хоть и поспать ему удалось за ночь не больше трёх часов, сна у Ленина – ни в одном глазу. Правда в буфете он кофию напился, да ещё прикупил в дорогу небольшую головку чухонского сыра и прихватил заодно аппетитный лимон, а уж чаю во втором классе нальют как-нибудь. Ещё газету купил вчерашнюю. Выбрал кадетскую «Речь» в пандан к английским башмакам и кепи. Не читать, понятно. Читать эти либеральную чепуху – всё равно, что чужие сопли по лицу размазывать. Газета – чем удобно? Всегда есть, чем лицо прикрыть. Конспирация!

Хоть, на лицо глядя, и можно было бы дать Ильичу все шестьдесят, не чувствовал он себя и на сорок. Весь он был как сжатая пружина, как натянутая струна, как стрела, пущенная из лука. И не имела над ней уже власти отпустившая её рука. И неслась она теперь неотвратно к той цели, что выбирала сама.

Он всегда любил в себе эту упругость, мускулатурность, ловкость. Он хоть сейчас был бы рад сесть на велосипед, взяться за вёсла, полазать по горам. А с тех пор, как в апреле он вернулся в Россию, как сошёл с поезда на Финляндском, оробев слегка от массы встречавшего его народа, так и вовсе у него как будто лет двадцать – с плеч долой, и сейчас, на этом выборгском перроне, в свои сорок семь, он чувствовал себя моложе, чем в Париже в сорок, в Женеве в тридцать шесть или в Лондоне в тридцать два. Пожалуй лишь в Шушенской ссылке, в двадцать восемь, ощущал себя Ильич таким же крепким и сильным, как сейчас.

Перрон, куда должен был прибыть его поезд, Ленин тоже нашёл не сразу. Сначала не туда вышел, табличку не так прочитал. Ещё немного – и он научится читать по-фински. Но теперь он точно там, где надо. На всякий случай спросил служителя, тот подробно, обстоятельно, подтвердил:

– Точно так, пассажирский из Петрограда, прибывает на этот путь. По расписанию должен через сорок минут, но война, сами знаете...

Ленин выбрал скамью в середине платформы, там, где, по расчету, должен был остановиться его вагон, пристроил подле себя лукошко и прикрыл лицо газетой. Задремал пассажир в ожидании поезда, ничего удивительного, час по господским понятиям ещё куда как ранний.



Он вспомнил отчего-то тот день, когда Саша впервые научил его узнавать время по звёздам. Он вспомнил поздние летние сумерки, себя, двенадцатилетнего, одиноко крутящегося на «гигантских шагах» во дворе их симбирского дома.

Вся остальная семья заканчивала ужин на веранде. Уже допили чай. Прислуга собрала посуду и вынесла две керосиновых лампы. При свете ламп у Володи вся веранда как на ладони. Няня забрала Маняшу. Теперь они будут играть в лото. Мешочек с бочонками на коленях у Ани. Она будет выкликать. Мама, Аня и Саша берут себе по четыре карточки. Оле дают три, маленькому Мите – две. Мама сажает Олю поближе к себе: она будет помогать ей следить. Саша, как всегда, будет помогать Мите. Папа в лото не играет.

Володя видит, как папа отодвигает подстаканник, застёгивает на одну пуговицу вицмундир, целует поочерёдно детей: сначала Митю, потом Олю, потом Сашу, потом Аню. Прислуга вернулась забрать со стола самовар. Папа говорит что-то смешное. Володе не слышно что. Все смеются, кроме Мити. Митя не понимает шуток. Папа уходит к себе. Володя сегодня не играет в лото вместе со всеми. Он наказан. Он крутится здесь один на «гигантских шагах» и ждёт пока совсем стемнеет, младших уведут спать, а Саша выйдет к нему. Сегодня десятое июня – день летнего солнцестояния, и Саша обещал научить его узнавать время по звёздам.

Они всё играют и играют в своё лото. Володя кружится и кружится. Ну, доиграли, наконец. Смеются, собирают карточки, бочонки, фишки. Уже темно совсем почти, и звёзды высыпали. Теперь все по очереди подходят к маме, чтобы поцеловать её и желают друг-другу спокойной ночи. Саша подходит к маме последним и о чём-то говорит с ней. Все уходят с веранды. Мама сама, без помощи прислуги, забирает с собой одну лампу, Аня – другую. Теперь темно совсем.

Саша появляется во дворе через минуту-другую. На нём белая рубашка, хорошо заметная в темноте на фоне почерневшей веранды. В руке у него карманные часы.

– Мама не разрешила мне заниматься с тобой, пока ты не извинишься перед Митей.

– Я не буду извиняться. Я ничего плохого не сделал ему.

– Ты дразнил его и пугал козликком.

– Я не дразнил, я хотел его рассмешить.

– Ты же знаешь, что он не понимает шуток. Он ещё маленький. Я тоже думаю, что ты должен попросить у него прощения. Он простит, я уверен.

– Хорошо, я попрошу у него прощения завтра. Он всё равно уже спит.

– Тогда завтра и расскажу про звёзды.

– Но завтра уже будет одиннадцатое июня, солнцестояния не будет.

– Ну хорошо, пошли. Но смотри, ты обещал. Завтра же утром попросишь у Мити прощения.

Братья вышли на крутой, обрывистый берег Волги и оба легли на спину. Саша поднял руку с часами, держа их за цепочку. Помог Володе найти Большую Медведицу и Полярную звезду, объяснил как построить воображаемую стрелку и спросил, куда она показывает.

– Туда, где на часах половина одиннадцатого, – уверенно сказал Володя.

– Правильно. А теперь надо найти где полночь. Полночь каждый день перемещается. Ходит по кругу. Но сегодня, в день солнцестояния, полночь там, где на часах девять. А теперь сосчитай разницу.

– Получается полтора часа после полуночи. Не может быть. Сейчас гораздо раньше.

– Разницу надо считать против часовой стрелки и умножать на два. Сейчас три часа до полуночи. Девять часов вечера. С точностью до пятнадцати минут.

Володе не терпелось проверить. Саша щелкнул крышкой часов и чиркнул припасённой спичкой. Володя посмотрел на циферблат – десять минут десятого. Младший брат смотрел на старшего с восторгом и обожанием.



Похоже, он действительно подремал чуток. Вот и поезд подошёл. Почти без опоздания. Пассажиров мало. В свой вагон Ленин один садится. В соседний, для курящих, поднимаются два офицера. У одного белый эмалевый офицерский георгиевский крест, у обоих приколоты красные банты.

Места во втором классе плацкартные, искать свободное нет нужды, но и выбирать не приходится. Ленин нашёл своё купе, с силой дёрнул ручку. В купе один пассажир, морской офицер, по погонам капитан второго ранга. С непременно красным бантом, только почему-то не на груди, а на рукоятке кортика. Фуражка лежит на столике. Соснул, по-видимому. Но с появлением попутчика встрепенулся, подобрался весь, фуражку убрал назад в багажную сетку. Галантен, любезен:

– Милости прошу, устраивайтесь, далеко ли путь держите?

– До Гельсингфорса, господин капитан, – у Ленина как-то само так отлетело звонко, почти по-военному. Даже сам удивился.

Офицер снисходительно улыбнулся в аккуратно постриженные на английский манер усы: штатскому дозвоительно не видеть нюансов. Мягко поправил:

– Подполковник по адмиралтейству Шатов, береговая служба, – и через паузу, с запинкой, – Михаил Филиппович.

И потом, совсем уже извинительно:

– Капитаном – это если бы на корабле служил.

Ленин по привычке отрекомендовался Емельяновым, Алексеем – ну пусть будет – Яковлевичем, свободным литератором.

Литератором должно быть безопасно: солдафон небось книжек в руках никогда не держал. Но тут промахнулся Ильич. Офицер захотел себя показать существом разносторонним и образованным.

– Литератор? Поди в газетах пишете? В каких, если не секрет? Да у вас наверняка псевдоним.

– Я всё больше в специальных изданиях, – замялся Ленин. – На экономические темы, в основном. По аграрному вопросу, о хлебопоставках, о финансах, о займах.

Опять не повезло Ильичу. Это кто же в России, на седьмом месяце Революции, да на четвёртом году войны не готов поговорить про экономику? Нынче каждый – экономист. У подполковника сразу ряд вопросов. Первый – конечно, про хлеб, про твёрдые цены, про развёрстку. Про иностранные займы:

– Казалось бы, если мы союзники, если против общего врага, то какие ж могут быть проценты? И если рубль теперь никакой не золотой, то тогда какой же он по-вашему, и так, печатая деньги простынями (показал руками), можно до того докатиться, что через год будем всё считать на миллионы...

Отвечал Ленин. Терминологией владел, статистику знал кое-какую, ссылаясь на европейский опыт. Но, что у нас в России хорошо, так это то, что интеллигентный собеседник задаёт вопрос вовсе не затем, чтобы услышать на него ответ, а для того лишь, чтобы – хорошо если не перебив на первой же фразе – изложить свою точку зрения на предмет, а заодно уж пройти и по остальным темам. Всё это пространно, страстно, прикрывая рукой открыжку, брызгая слюной.

Ленин подполковника не перебивал, слушал внимательно, поддакивал. Проплыла за окном та станция, где несколько часов назад садились они с Зиновьевым на поезд, чтобы ехать в ту, другую, петроградскую сторону.

Уже заходил проводник прокомпостировать Ленину билет, уже зашёл он ещё раз принести господам чаю. Укрепил на столике вазон с бисквитами. А подполковник всё говорил и говорил, видно накопилось у него.

Он рассказывал все те истории, каких успел уже послушаться Ленин с тех пор, как в апреле вернулся домой, а до того ещё в эмигрантских цюрихских гостиных. Истории эти – ну может быть без малых подробностей – вот уже три года, как печатали все газеты либерального направления, да и потом ещё сто лет предстояло этим художественным деталям насыщать собой мемуары, повести, романы, пьесы,...

Подполковник рассказывал про подмокшие пороха, про некалиброванные снаряды от недобросовестных поставщиков, про неразбериху с морскими картами, про конфуз с шифровальными кодами (подумать только, дело кончилось тем, что передавали так называемым «клером», открытым текстом, вот немцам-то потеха).

Он рассказал, как на «Императрице Марии» накануне того, как взлететь ей на воздух на севастопольском рейде, проводились ремонтные работы, и что не только никакой проверки

рабочих, что взошли на борт, не было произведено, но и никакого их поимённого списка никто не озаботился составить.

Он рассказал, как на другом свежестроенном линкоре, уже здесь на Балтике, пришлось в первый же день войны срезать оказавшиеся негодными орудийные башни, а ведь ими так гордились. И это через десять лет после Цусимы!

– Били нас и будут бить.

О союзниках удалось Ленину вернуть вопрос. Тут подполковника совсем прорвало. Союзников он и в грош не ставил. Англичане – ещё туда-сюда, всё-таки флот есть флот, а во французах подполковник и вовсе проку не видел. Припомнил визит французского президента Пуанкаре перед самой войной, летом четырнадцатого. Какой ему тогда приём закатили, какой был смотр, какой парад! Да он сам участвовал, стоял на правом фланге! Рассказал, как выстраивали солдат и матросов в каре, подбирая по ранжиру и внешности, так чтобы в одной каре все как один чернявые, а в другой все курносые. И так вот все стоят во фронт и слушают Марсельезу. А куда денешься? Раз официальный визит значит надо играть гимн. И это в высочайшем присутствии! Умора.

Проводник постучался. Хотел забрать стаканы из-под чая. Подполковник: «Нет-нет, мы ещё допиваем», а сам в портфель свой, и из него – большой термос. В термосе – коньяк.

Ленин озорно:

– Что, союзнички прислали контрабандой?

– Да что вы! Пришлют они, как же. Старый ещё, из довоенных запасов, шутовский. Когда в четырнадцатом сухой закон ввели, мы с женой целый погреб запасли. Вот допиваем понемногу.

Разлил подполковник по стаканам твёрдой рукой. А у Ленина как раз лимон припасен из Выборгского вокзального буфета. Удачно. Для политика это очень важное умение – быть на полшага впереди событий.

Сдвинули стаканы за знакомство. Ленин только отпил чуток, подполковник – споловинил. После коньяка беседа потекла ещё живее. Ленину интересно мнение профессионала насчет положения на фронтах. Немцы в Риге. Как считает Михаил Филиппович, угроза для Петрограда реальна?

Оперативными и стратегическими вопросами подполковник владел отменно. Руками показывал на столике: вот здесь мы, здесь – немец. Петроград, считал, защищён надёжно, да немцы и сами не сунутся, зачем им? Теперь, когда Америка присоединилась к Антанте, дела у немцев неважны совсем. Оптимистично был настроен подполковник, однако ж ходом ведения кампании в целом был недоволен:

– Кавказский фронт! Куда это там, с позволения сказать, великий князь – бывший, бывший! – нацелился? Решили что ли по суше до Константинополя дотопать? Смешно! Одно слово – пехота.

Заявленных целей войны морская душа подполковника тоже не вполне разделяла:

– И даже, допустим, достанутся нам эти Дарданеллы. Какой ценой, говорите, какими потерями? Да, неважно, бабы новых нарожают, не в потерях дело, война есть война. Дело в том, что через эти проливы попадаем мы опять в закрытое море. Что, пустят нас англичане в Гибралтар? Смешно думать, право. Ну ладно венценосец, что с него взять, он поди и карт в руках не держал, кроме игральных. Но эти-то: Милюков, Гучков – должны бы, казалось, понимать. Да куда им!

Ленин лениво потягивал коньяк. Подполковник свой допил одним махом. Вспомнил пару анекдотов. Рассказал. Старые, несмешные, пошлые. Ленин сгибался пополам от смеха, колотил себя по ляжкам.

Отсмеялись. Ленин осторожно спросил насчет дисциплины в войсках. Насчёт «Приказа № 1» – в том смысле, не разлагает ли нашу армию?

Подполковник поморщился. Да, в Питере картина неприглядная. Солдаты бузят, митингуют, лузгают подсолнух, офицеры все красные банты нацепили. Но это в Питере, и это запасные полки. Им на фронт неохота – вот и бузят. А а Гельсингфорсе – другая картина, сами увидите. Всё на самом деле от командира зависит. Вот у него на базе – порядок полный, и дисциплина на должном уровне, и никаких красных бантов.

– Так вот же у самого у вас красный бант, – не выдержал Ленин, указав на кортик.

– Это не бант, – поправил подполковник. – Это – «клюква», темляк, лента от Анны четвертой степени.

– А за что орден?

– За ранение при Порт-Артуре. Штабс-капитаном ещё. Шрапнель японская.

Видно было, что не хочется подполковнику вспоминать о том. Так подумалось Ленину, что помимо ранения не избежать было попутчику и японского плена.

За окном начали мелькать семафоры, шлагбаумы, в коридоре послышалось движение. Проводник снова за стаканами постучался, пришлось Ленину быстро допить. Нехотя, неспеша, втягивался поезд под свод гельсингфорского вокзала.

Подполковника встречал прапорщик, весь в кожаном реглане. Доложил по форме. Авто у вокзала, куда прикажет господин полковник? Сразу на базу или на квартиру сперва?

Подполковник предложил Ленину подвезти. Соблазнительно, чёрт возьми, но:

– Нет-нет, благодарю, мне от вокзала два шага, да и поклажи, видите, совсем никакой.

Распрощались. Офицеры – руки к козырькам. Ленин тоже пощупал козырёк своего кепи.

В Гельсингфорсе на площади перед вокзалом извозчиков не было почти вовсе, а таксомоторов – пруд пруди. Выбрал такой, чтобы шофёр на вид был точно финном. Сел сзади, адрес сказал. Одно слово только: «Мюндгатан». Шторку задернул. Подъехал, вышел, расплатился и ещё несколько кварталов отмахал пешком. Шёл быстро, кепи в кармане: засунул так в такси, да и оставил. Вроде и недавно он носит этот парик, а взялся уже откуда-то этот дурацкий жест – откидывать со лба взмахом головы чёлку. Уж лет сорок как нет у Ильича никакой чёлки, а вот встряла привычка, что ты будешь делать? Это как чужой акцент пристаёт.

Вышел на узкую, мощённую булыжником улицу. Прочёл название. Дошёл до угла. Там новый дом в шесть этажей. Над парадным выложен год постройки – 1910. От парадного направо, через два окна, чугунные ворота. По дневному времени распахнуты настежь. В подворотне – лужа, не обойти, а после подворотни, в первом этаже – чисто вымытая витрина кондитерской.

В кондитерской народу никого. Столики мраморные высокие, а стульев нет. Это чтобы клиенты не рассаживались лишнего. Заказал по-шведски большую чашку кофе и пирожное. Кофе лучше, чем в Выборге на вокзале, да и чем в Петрограде тоже получше, пожалуй. А пирожное невкусное, кисловатое. Прямо бромистый натр какой-то. Поковырял-поковырял ложечкой, отставил. Чего вот Ленину после Швейцарии действительно не хватало, так это шоколаду. Особенно – молочного. Иногда хотелось до дрожи прямо.

Спросил у хозяйки (опять по-шведски) нет ли телефона позвонить. Та показала телефон за узкой матового стекла дверью в глубине утопленной в стену ниши. Свет зажигается внутри. Пятнадцать пенни она добавит к счёту.

Ленин зашел в тесную кабинку, щёлкнул выключателем, плотно прикрыл за собой дверь и стал крутить ручку. Говорил коротко, о чём – не слышно. Вышел довольный, расплатился и прихватил заодно большую плитку шоколада «Жорж Борман». Сладкое – пригодится.

Из кондитерской свернул налево за угол, обошел квартал кругом и вернулся к тому же дому. Фигурную ручку парадной двери – сильно на себя. Холл внутри просторный, высокий, и внутри – новинка, самоуправляемый лифт без лифтёра. Тут конфуз небольшой. Не знает Ильич как лифтом управлять. Не приходилось. Хлопал дверями туда-сюда, пробовал нажимать кнопки – ни с места. Вылез, а то застрянешь ещё как в мышеловке.

По пологой лестнице, охватывающей на каждом этаже лифтовую шахту в три марша, взлетел через две ступеньки, не запыхавшись, на четвертый этаж. На каждом этаже одна квартира. Стены, по новой моде, разрисованы водорослями всякими, и такими же водорослями отлита решётка перил.

... и не успел он повернуть ручку звонка, как дверь распахнулась, и две женских тонких руки с падающими от локтей широкими шёлковыми белыми рукавами обняли его за шею и втянули внутрь. И женский молодой голос:

– Володя! Наконец-то! Я ждала, я знала, что ты приедешь. Боже, что это за жуткий парик? Что за глупый маскарад? Обещай мне, что отпустишь обратно бородку.

И потом, уже внутрь квартиры, громче, для прислуги, по-фински:

– Пайви, готовьте ванну!



– Только без ароматических солей! – взмолился Ленин. – И если есть овёс, вели кинуть пару горстей.

Хозяйка поспешила внутрь квартиры, увлекая Ленина за собой. Лет ей было на вид под тридцать, была она стройна и, хоть и на низком по-домашнему каблуке, возвышалась над Ильичом на полголовы, а с высокой причёской рыжих волос – так и на всю голову.

Корсета под домашним платьем не просматривалось, да ей он был бы и без надобности: линия спины, изгиб высокой шеи, движения рук – всё выдавало в ней то, что даётся не столько породой (хоть и породы тут было не занимать), сколько той выучкой, что приходит с годами, проведёнными за дверями закрытых женских учебных заведений, с их низкими подушками в прохладных дортуарах, с часами, выстоянными на молебнах, с танцевальными классами.

– Ты одна?

– Да, только прислуга. Но она не понимает по-русски. Знает три слова: «здравствуйте», «спасибо» и «я сама».

– Это хорошо, это кстати. А твой в Лондоне? Было в газетах.

– В Саутгемптоне. Принимает пушки для дредноута. Позавчера прислал телеграмму, что ещё задержится на пару недель. А может быть и в Америку ему придётся.

– Тем лучше.

– Ты что! Я так боюсь подводных лодок.

– Извини, – понял свою бестактность Ленин. – Я не то имел в виду.

И, чтобы перевести разговор:

– Где бы мне одежду мою скинуть, чтобы не разносить по апартаментам. По ней хорошо бы утюгом пройти, а то я часть пути чуть ли не в телячьем вагоне добирался, да и вообще где только бока не обминал.

– Ванна готова, – донеслось из-за двери по-фински.

– Вынь всё из карманов, – скомандовала хозяйка, – И куртку брось здесь, а всё остальное сними в ванной и оставь возле печки. После сожжём. Башмаки, так и быть, можно оставить, но уж парик я спалю своими руками.

И пошла делать последние приготовления.

– Овса, если есть! Киньте две-три горсти, лучше четыре, – крикнул вдогонку Ленин.

Поверх лукошка с грибами, оставленного в углу, упала тяжёлая куртка, вывернутая пледом внутрь, сверху – синяя тетрадь, на неё – браунинг, и поверх всего – шоколадка. Башмаки Ленин принялся было расшнуровывать, но тут она позвала его, и в расшнурованных, распадающихся голенищах Ильич потопал по коридору на её голос.

Оставшись один в просторной, натопленной ванной комнате, Ленин стянул через голову финский свитер и откинул помочи. Под свитером оказалась мягкой ткани нижняя рубаха в рубчик, вроде тех, какие в Швейцарии носят солдаты, со множеством карманов и карманчиков, застёгивающихся на пуговички, а некоторые ещё и прихвачены английской булавкой. Рубаху Ильич снимал как снимают присохшие бинты – где осторожно, где рывком. Кожа под рубахой была воспалена, покрыта корками.

Пощупал рукой воду. Пусть остынет чуть-чуть. Разобрался пока с содержимым карманов. Потеснил на мраморной полке флаконы. Выкладывал осторожно, чтобы не намочить, и раскладывал аккуратно:

Пропуск с фотографией на имя Емельянова. Паспорт Российской Империи, без фото, просроченный, измятый, пропотевший, с чернильной кляксой. Вид на жительство в одном кантоне на французском, вид на жительство в другом кантоне на немецком. Оба – на Ульянова. Несколько швейцарских франков. Немного шведских крон, в основном монетами. Пять купюр по сто немецких марок и несколько марок серебром. Сто американских долларов одной купюрой, почему-то свёрнутой в трубочку. Развернул, расправил, придавил её на полке монетами.

Из маленького кармашка достал небольшую склянку коричневого стекла с притёртой пробкой. Открыл пробку, понюхал, понравилось, закрыл, поставил на полку. Из другого кармашка достал плоскую никелированную коробочку вроде пенала. Открыл. Внутри, по отделениям – разные пилюли, таблетки, порошки в бумажках. Пересчитал, закрыл. Достал плоский прозрачный пузырёк с прозрачной же жидкостью и завинчивающейся пробкой. Посмотрел на свет, открывать не стал.

Из совсем маленького кармашка достал русскую аптекарскую картонную трубочку, вроде тех, в каких держат градусники, но покороче. С обеих сторон крышки. Открыл одну, выкатил на ладонь несколько гомеопатических бусинок, отсчитал четыре, закинул в рот. Остальные – обратно в трубочку. Открыл с другой стороны, на ладонь выскользнула медицинская ампула. Осмотрел, положил обратно. Из того же кармашка выскочил затёртый, сложенный пополам бубновый туз с опалённым по краю пулевым отверстием 38-го калибра. Не в самом центре, но близко. Тоже положил сушиться.

Парик, как и рубаху, отрывал с усилием, но видно, что без боли. Кряхтел скорее с удовольствием.

Лысый, по пояс голый, сел на край ванны. Избавился, наконец, от башмаков. Носки рваные, ноги сбиты, лучше не смотреть. Брюки стянул вместе с кальсонами. Из карманов тоже какие-то деньги посыпались. В основном – финское серебро. Один царский рубль закатился под ванну. Достал с трудом, лежал орлом кверху, это к добру, примета хорошая.

Лёг, наконец, в ванну. Какое блаженство! От размокшего овса унимается нестерпимый зуд. Пожалуй, что теперь можно и теплее воду пустить. Разобрался с фаянсовыми кранами. Несложно. Всё как в Европе. Что-то пыхнуло сзади. Где!? Что? А, это колонка в углу сработала, высунув безобидные язычки газового пламени.

В длину Ильич мог вытянуться в ванне в полный свой рост, да и ещё оставалось место. Он целиком погрузился в распаренную овсянку, оставив на поверхности одно лишь лицо. Расслаблялся, блаженствовал, напевал что-то, разглядывал высокий, чуть не в две сажени, потолок: лепнина, мозаика, какие-то водоросли, нимфы. Буржуазность, но красиво. Закрыл глаза.

Стук в дверь:

– Это я.

Вошла, держа в руках стопку наглаженного белья:

– Вот, наденешь потом.

Ленин подтянул колени, подприсел, подвысунулся из воды: лежать перед стоящей дамой – не то воспитание. Присела на край ванны, оглядела воспалённые плечи Ильича, хотела погладить, не решилась:

– Что, опять Святой Антоний²?

– Он проклятый. Как уж невзлюбил меня, так и не отпускает. Хотя бывало порой, что и по несколько месяцев в покое оставлял. Но сейчас вот обострилось, нервишки разыгрались, одно за другое... Да ладно, пройдёт, бывало хуже. Посиди со мной.

– Сейчас, я только пошлю Пайви в аптеку за серой.

– Не надо, у меня есть с собой немного. Завтра пошлешь, заодно на почту надо будет.

Подошла к полке, подняла коричневый пузырёк, показала Ленину:

– Это сера?

– Да, ещё швейцарский запас.

Открыла пробку, понюхала:

– Ммм! Пахнет как тогда. Я потом сама тебя помажу. Ты не думай, я ходила на курсы сестёр милосердия. Видишь, я даже ногти постригла. А это что? – взяла прозрачный пузырёк. – Это что в обход сухого закона? Не стыдно?

– Это симпатические чернила. Осторожно, это всё что есть.

Вернула пузырёк на полку. Стала рассматривать остальное ленинское богатство.

– О, да мы нынче при деньгах!

– Да уж, не с пустыми руками, что называется.

– Да у нас тут целый банк оказывается! Сто североамериканских долларов. Подумать только, никогда в руках не держала. Это кто, Франклин? Тот, что громоотвод? Ничего, симпатичный. На Шалтай-Болтая похож. Вот бы твой портрет на сторублёвке вот так. Это же сколько будет по-нашему?

– По-теперешнему – уже не знаю. Сто долларов – считай двадцать два фунта стерлингов.

– Ого, много! А это что? Немецкие марки! Денежные знаки противника! Это как прикажете понимать?

– Ей-ей! Те самые «немецкие деньги». Ты же читаешь газеты.

– Пятьсот марок. А нет, вместе с серебром – пятьсот восемь. И это всё?

– Не так уж и мало, между прочим. Это считай ещё двадцать фунтов. Извини, поиздержался. Шоколаду купил, грибы опять же. Их, кстати, отдай пожарить и скажи, чтобы непременно с луком.

– Непременно, непременно с луком, – примостилась у Ленина в головах, провела рукой по лысине. – Боже мой, а на голове что это у тебя? Сыпь какая-то. Раньше не было. Болит?

– На голове? – не сразу Ильич догадался. – Это должно быть яичный желток засох. На нём парик держался.

– Ах желток, – отлегло у неё. – Ну дай я отмою...

Намылила греческую губку, засучила рукава.

– Закрой глаза.

Ильич глаза закрыл, а сам её за руки к себе притягивает; лицом к лицу они теперь вверх ногами. Смешно, когда рот вверх открывается. А лица не рассмотреть. Один поцелуй, другой.

– Ну куда ты меня тянешь? Я сейчас к тебе опрокинусь.

– А я и хочу так. Сними всё.

– Что, прямо здесь? Ты с ума сошёл. Ну, подожди.

Браслеты и кольца легли на мраморную полку. Платье шурша скользнуло к ногам. Следом – комбинация. Дразнящим жестом потянула тесёмку на десу. Волосы оставила заколотыми. На фоне бледно-зелёных изразцов смотрится чудно. Осторожно шагнула в ванну. Вода чуть-чуть перелилась через край.

² «Огонь святого Антония» – гангренозная форма эрготизма (лат. *ergotismus gangraenosus*). Кожная болезнь, диагностированная у В.И. Ленина в молодости и сопровождавшая его до конца жизни (см. напр.: Robert Service, Lenin: A Biography, Harvard University Press, 2000.)



Уж на что – на что, а как на любовника не было никогда на Ленина нареканий. Сколько ни скрипели злобными перьями меньшевики, сколько ни изливал на него яду Горький в своей «Новой жизни», а этой темы предпочитали его недруги вовсе не касаться, ибо знали, что сказать им нечего. Был Ильич неутомим, изобретателен, а подчас почти что и нежен. Годы в Европе тоже не прошли для него даром, подучился кое-каким штукам – вместе пробирались из спальни босиком в столовую, выбирали в буфете подходящую чашку. Не доставало правда в какие-то моменты гибкости, и мучали кожные болячки. Но если с вечера Ильич и упустил чего, – с устатку, с дороги утомился, заснул быстро, – то с утра наверстал всё полностью. Обесилевшая, она лежала, в полумраке спальни, томно опершись на подушки, а Ленин, в одних кальсонах, лежал на спине на полу, на пушистом ковре, и попеременно, то правой то левой рукой, отжимал от рыжей, залатанной марлевыми повязками груди полупудовую гирию.

– Ты исколол меня всю.

– Ты меня тоже, – поменял руку.

– Люблю этот запах серы, – промурлыкала она. – На меня действует так, что прямо не могу тебе объяснить. От тебя пахнет как от дьявола. Ну, хоть меньше болит?

– А я и есть дьявол. – Ленин сделал передышку.

Кальсоны были ему сильно велики. На животе завязаны узлом, штанины подвёрнуты до середины лодыжки. Встал, пошлёпал босиком в ванную. Кальсоны сзади на поясице мокрые от пота треугольником.

– Бриться не думай даже, – крикнула ему вдогонку.

К завтраку – яйца всмятку, кофе, поджаренные хлебцы, джем – Ленина прифрантили. Сверху на нём была накрахмаленная нижняя рубашка, из тех, какие называют почему-то «гейшами», а поверх неё надетый не в рукава, а накинутый на плечи китель капитана первого ранга. Тут уж настоящий, капитанский, ошибки быть не может. Дореволюционного фасона ещё, на погонах неспоротые царские вензеля. И «гейша» и китель – всё велико Ильичу.

– Всё-таки мы могли бы с тобой встретиться тогда в апреле. Хотя бы на день, – упрекнула она.

– Ну не мог я, пойми, не мог. Вообрази себе: Надя, Иннесса, а тут ещё и ты. И товарищи же кругом. Да и не все свои. Зачем давать повод?

Вот ещё, – надула губки. – Что за буржуазные глупости. Да и разве подумает на меня кто? Жена Цезаря – вне подозрений.

– А что твой Цезарь, кстати? – Ленин был рад сменить тему. – Читал, что он отличился при Моонзунде в пятнадцатом.

– Отличился, *c'est le mot!* Слава богу жив остался. Ты не представляешь, что я пережила. Теперь-то герой конечно. Адмирал его с собой в Америку звал, читать в Сан-Франциско лекции по минному делу, но я – наотрез. А то представляешь, была бы я сейчас в Сан-Франциско. А теперь он в Англии, я тебе говорила вчера. Телеграфирует каждую неделю.

Зашла прислуга убрать со стола. Замолчали. Ленин осмотрелся. Столовая выдержана в восточном вкусе. Гравюры по шёлку, бамбуковые висюльки, веера, чёрные лаковые шкатулки вдоль буфета. Посуда – вся китайская, тонкий фарфор. На стене самурайский меч и под ним грубая холстина с какими-то двумя иероглифами: один над другим. И только сейчас, когда выносила прислуга кофейник, заметил Ильич, что и дверь в столовую отгорожена китайской ширмой.

– Это что всё на память о Порт-Артуре? – кивнув на самурайский меч, съехидничал Ленин. – Впрочем, японцы теперь союзники.

– Да нет, это я только сейчас увлеклась. Геомантия – ты знаешь, наверное?

– Геомантия? Первый раз слышу.

– По китайски «фенг-шуй». Значит «ветер и вода», – показала на иероглифы на холстине. – Идея в том, чтобы овладеть потоками энергии Ци и направить их во благо. Но главное – это не давать потокам рассеиваться. Ставить на их пути преграды, вот как эта ширма.

– Чушь, по-моему. Идеалистический бред.

– Ничего подобного! Если и бред, то сугубо материалистический. А раз материалистический, так и не бред вовсе, а передовая теория. Сейчас, сейчас...

Зажмурилась на мгновение, растопырила впереди обе кисти ладонями наружу, пальцы напряжены, и выпалила:

– *Превращение энергии рассматривается естествознанием как объективный процесс, независимый от сознания человека и от опыта человечества, то есть рассматривается материалистически.* – Это кто это у нас написал? Это Володенька написал, – погладила она его по лысине. – «Материализм и эмпириокритицизм», пятая глава³.

Ну как с такой поспоришь? Привлѣк к себе, усадил на колени. Взяла его руку, поднесла к лицу:

– Ну и ну. Ты, пожалуй, действительно дьявол. У тебя не ногти, а копыта. Пойдѣм-ка к свету.

В следующую минуту Ленин сидел в будуаре, боком к трельяжу, держа одну руку в эмалированной ванночке с глицерином, а над другой, вооружившись ножницами, щипчиками и пилкой трудилась она, развлекая Ильича беседой.

– Только не дѣргай руку. Ты мне лучше скажи, почему ты не поднял восстание летом. Я ждала со дня на день, я проиграла портнихе пари. Чего ты ждал?

– Почему, почему... Восстание – это искусство. Не тот был момент. Не было у нас силѣнок летом, обернулось бы авантюрой. Скрутили бы в бараний рог, да ещё бы и обвинили в бланкизме – не отмоешься. И так пришлось в июле ноги уносить.

– Ноги – потом. Сначала руки. Ну а сейчас, что ты думаешь? Сейчас чего ждать? В Советах у тебя большинство, и в Петрограде и в Москве. Да и Корнилов тебе куда как кстати.

– Да уж, Корнилов нам такого шара подставил, такую карту наиграл! Низкий ему поклон, Лавру Георгиевичу, от трудящихся масс.

– Не смейся, порежу. Давай вторую руку. Ну так и чего мы теперь-то ждѣм? Холодов? Ты что хочешь дожидаться Учредительного?

– Учредительное – крайний срок. Но время есть ещё, оно пока на нас работает. Может и восстания не потребуется, власть и так перейдѣт к Советам. Уже переходит.

– Что-о? Без восстания? Через Советы? Что, будешь там заседать с Черновым и этим, как его, этого выскочку, Церетели? – еле сдержалась, звякнула ножницами, отложила от греха. – Ну и как хочешь. Будешь каким-нибудь товарищем министра, а то в депутаты баллотироваться, в какую-нибудь комиссию по бюджету. Или нет, ещё смешнее, почему бы тебе не заняться социальным страхованием? Или сиротами? Нет, лучше инвалидами войны. Пожалуйста, на здоровье. Не это ли твоя мечта? Может быть тебе фрак заказать, или френч как у Керенского?

Всѣ-таки не выдержала. Выступили слѣзы:

– Ты что готов на компромисс с оппортунистами? Ты же сам писал в восьмом году, что ошибкой парижских коммунаров было увлечение мечтами о высшей справедливости вместо экспроприации экспроприаторов, излишнее великодушие к врагам и пренебрежение военными

³ В. И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. 1908. ПСС. Т.18, С. 288.

методами. Это твои слова⁴. Что с тех пор изменилось? Что, постарел? Постаре-е-ел. Полюбуйтесь – Владимир Ильич Плеханов!

«Плеханов» – сказала как выплюнула. Уже и поняла сама, чтохватила через край. Нет, не надо было ей говорить этих слов. Ленин осунулся лицом, заиграл желваками. Стал весь как будто ещё меньше внутри кителя. И сквозь прищур:

– Я никогда не шёл и не пойду ни на какие компромиссы. Я никогда не боялся идти на раскол, если вопрос принципиальный. Я бывало вообще один оставался и всегда в конце концов оказывался прав. Но восстание я не могу поднять в одиночку, а в ЦК нет единства. Сталин – то вроде бы за, а по сути против. Трясётся как желе. Троцкий – как всегда: «за, но при определённых условиях», а каких-таких условиях – пойдипойми его. Зиновьев с Каменевым, так те вообще против. Мне что одному прикажешь встать во главе санкюлотов?

Подошла сзади, обняла за лоб, поцеловала в купол.

– Ты же сам сказал, что в конце концов всегда оказываешься прав. Так убеди, напиши, сошлись на Маркса. А насчёт условий Троцкого и желеобразности Сталина, так я тебе вот что скажу. Товарищем министра в эсеровском правительстве – это ещё не худший вариант. А ты представь на минуту, что тот же Троцкий сам решит, когда созреют его условия. И кто тогда окажется во главе санкюлотов?

Поднял тяжёлый взгляд:

– Ты думаешь?..

– Боже, как всё-таки мужчины наивны, – встала, чтобы уйти. Маникюрный набор соскользнул с колен. Удержал за руку:

– Подожди. Чернил и бумаги дашь?

– Да сколько угодно! – просияла. – Располагайся у Георгия в кабинете. Я сейчас.

Ленин водрузился за просторный письменный стол в кабинете мужа. Большой глобус, морские карты, изрядно надраенной меди и прочей морской атрибутики. Просторный кожаный диван, вращающееся английское кресло. Завидно Ильичу немного. Ничего, когда-нибудь и у него будет свой кабинет.

Приступая к работе, он никогда не торопился, предпочитал даже немного помедлить. Проверил достаточно ли чернил, разложил стопкой бумагу, придирчиво рассмотрел перья, одно забраковал. Карандаш тоже может понадобиться. Нашёлся один подходящий, но надо бы очинить. Да где ж его нож?

Постучала в дверь:

– Вот твой ножик. Небось привык к нему. Ты работай, а я пока выйду в город по делам. Приодеть бы тебя неплохо, хотя с другой стороны: во главе санкюлотов в одних кальсонах – в этом что-то есть. Не скучай, я скоро вернусь.

Следующие несколько дней проходили размеренно. Утром и вечером Ленин принимал ванну с овсяными хлопьями. После ванны она мазала его серной мазью, накладывала повязки, знала и ещё некоторые средства. От раза к разу ему становилось всё легче, болезнь отступала. И вообще Ильич стал выглядеть лучше, прибавил немного в весе, отросшая щетина начала приобретать знакомые очертания, лысина заблестела, да и сам он заметно повеселел. За трапезами всё больше благодушествовал, пытался даже шутить с Пайви по-фински, но та не понимала.



⁴ Близкое к тексту изложение тезисов статьи В. И. Ленина «Уроки коммуны», 1908. ПСС . Т.16 С. 451-454.

Ночи были полны любви, а днём он работал: писал, зачёркивал, рвал и комкал бумагу, вышагивал взад-вперёд по кабинету, садился снова рывком за стол и опять писал. Начиная день с писем, а потом принимался за статьи. Тетрадку свою синюю было совсем забросил, а потом опять достал, перечитал что-то, зачеркнул, исправил.

Она в это время занималась делами. Таксомоторы, извозчики, кое-где и на трамвае. Заглянуть на почту – нет ли чего до востребования. В аптеку – прикупить ещё серы. В разных магазинах готового платья покупала для Ильича всё, что нужно: костюм-тройку, полдюжины сорочек с воротничками, галстук (тот самый, в горошек), подтяжек две пары, ну и всё прочее, что требуется – бельё, платки, запонки.

Шляпных магазинов объехала несколько. Ничего не смогла выбрать для Ильича. И борсалино, и федора – всё не то. Ну не в котелке же ему действительно... Зато присмотрела прехорошенькую шляпку для себя. Примерила. Буржуазно, но идёт. Купила. Нигде ничего не брала в кредит. Везде платила финляндскими марками. Говорила то по-русски, то по-фински, то по-шведски.

И ещё в разных местах, в разные почтовые ящики опускала конверты. И ещё покупала газет.

Однажды вернувшись, она застала Ленина в кабинете не за столом, как обычно, а вытянувшимся на кожаном диване. Стопка исписанной бумаги лежала на столе, карандаши, перья – всё аккуратно сдвинуто на край стола. Работа закончена.

– Я посмотрю?

– Да, пожалуйста, прогляди.

Она села за стол. Пододвинула лампу, начала читать, местами про себя, местами вслух:

– *«К числу наиболее злостных и едва ли не наиболее распространенных извращений марксизма господствующими социалистическими партиями принадлежит оппортунистическая ложь, будто подготовка восстания, вообще отношение к восстанию, как к искусству, есть бланкизм»⁵.*

– По-моему, всё хорошо, только «социалистическими» я бы взяла здесь в кавычки, потому что по сути – какие они социалисты?

– Да, только непременно в двойные (показал пальцами). Можешь править прямо там. Спасибо.

– Уже поправила. И дался тебе этот Бланки⁶. Про него уж и не помнит никто.

– Ты не понимаешь, если сразу не отмазаться от бланкизма, то приклеют потом как ярлык, и не отмоешься. А так мы подстраховались.

– Ну, пусть будет. Но тогда надо и «бланкизм» тоже в кавычках.

– Резонно, правь.

Дальше читала всё больше про себя, реагировала одобрительно, замечания делала иногда по стилю, например:

– Вот ты тут пишешь: «...раз есть налицо эти условия, то отказаться от отношения к восстанию, как к искусству, значит изменить марксизму и изменить революции»⁷. По мне, так лучше и не скажешь, но зачем два раза подряд «изменить». Может быть лучше «изменить марксизму и революции»?

Ильич замотал головой как лошадь:

⁵ В. И. Ленин. Марксизм и восстание. 1917. ПСС. Т. 34. С. 242-247.

⁶ Луи Огюст Бланки (фр. Louis Auguste Blanqui, 1805– 1881) – французский политический деятель и революционер, коммунист-утопист, организатор тайных политических обществ и заговоров; провёл в общей сложности более 30 лет в тюрьмах.

⁷ Там же.

– Ни в коем случае. Именно два раза, а лучше бы три. Обвинения в измене – они, знаешь ли, самые сильные. Наше дело припечатать измену, их дело теперь отмываться.

– Согласна. А вот дальше я не пойму немного, ты пишешь: «Величайшей ошибкой было бы думать»⁸, – взмахнула ресницами. – Ты имеешь ввиду вообще или что-то конкретное?

– Там на обороте должно быть.

– А, ну да, «... думать, что наше предложение компромисса не отвергнуто, что Демократическое совещание может принять его». По-моему, ты так оставляешь им лазейку. А вдруг они возьмут да и примут. Может быть лучше сказать «ещё не отвергнуто», «ещё может принять его». Так получится, что срок ультиматума истёк.

– Архиверно. Вставь два раза «ещё», пожалуйста, и непременно подчеркни.

– Ну вот и славно. А теперь чай пить.

Как всегда, после чая она садилась играть ему. Он всякий раз просил её играть Аппасионату⁹. Она и на этот раз привычно взяла первые аккорды, но потом рассерженно хлопнула крышкой:

– Довольно! Вот уж хватит так хватит. Сколько можно слушать Бетховена? Как ты не слышишь, что он глух? Глух! Как ты не слышишь? Дай-ка я тебе лучше другое сыграю. Только я не разучила ещё вполне, сейчас найду ноты.

Она заглянула в папку, лежавшую на инструменте, и достала несколько нотных листов, сложенных так, как если бы их надо было нести в кармане. Развернула, поставила на пюпитр, размяла кисти, начала играть. Ильич слушал сначала скептически, но музыка постепенно захватила его.

⁸ Там же.

⁹ Людвиг ван Бетховен. Соната № 23. 1804-1806. Op. 57.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.